

Первая Библиотека школьника

М. ГОРЬКИЙ

РАССКАЗЫ и СКАЗКИ



ДЕТГИЗ

ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕЧКА ШКОЛЬНИКА



Г 71

М. ГОРЬКИЙ

РАССКАЗЫ и СКАЗКИ

Рисунки
Ф. ШПАК

НАРКОМПРОС РСФСР
Государственное Издательство Детской Литературы
1942

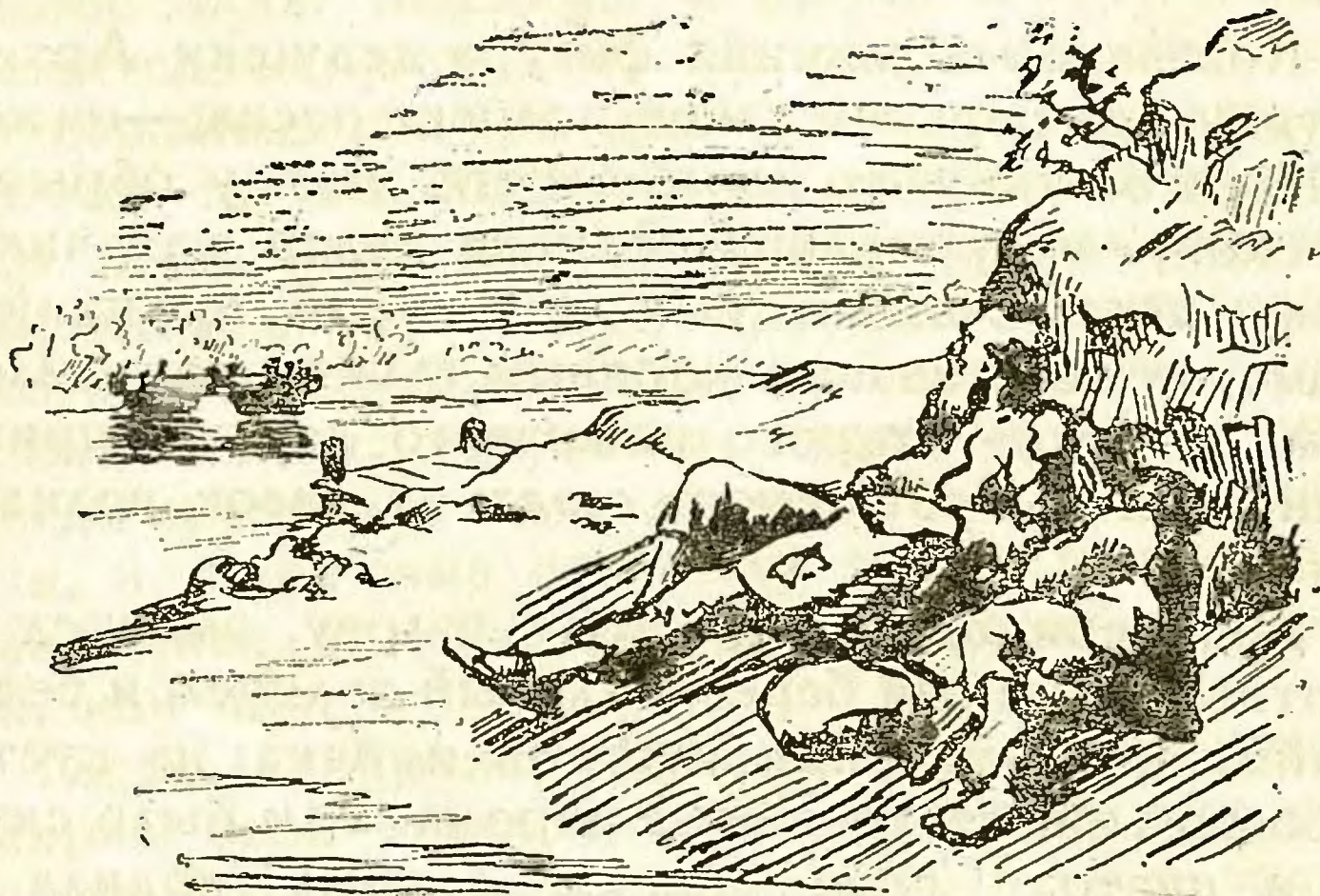
22986

1957 г.

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА~~

681726 КХ-редк

Российская государственная
детская библиотека



ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темнокоричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один — побольше, другой — поменьше; утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмствам.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка,—он желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой,—задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда—старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда на песок волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка; из кустов высывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспаленные глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видимое старческим глазом, пышно волновалось

золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей: казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг все скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева.

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еще его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Ленька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой в Россию.

Но—далеко итти в Россию... Всё равно не дой-

дешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

— Идет? — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

— Нет еще, не идет. Стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто, ну и стоит он... — медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. — Дремал ты?

Ленька неопределенно покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

— Кабы я плавать умел, купаться бы стал, — пристально глядя на реку, заявил Ленька. — Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Ленька недовольно отвернулся от воды.

— А вот что, — заговорил дед, подумав, — давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ноги прикручу, ты и лезь, купайся...

— Ну-у!.. — резонно протянул Ленька. — Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

— А ведь верно! стащит. Ишь, как прет... Чай, весной-то разольется — ух ты!.. И покосу тут — беда! Без краю покосу!

Леньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьезным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чем-то думал, щуря глаза.

— Ведь вот... — тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль. — Земля эта теперь... взял я ее в руки, растер и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся, поглядывая сквозь выступившие на глазах слезы в большие, сухо блестящие глаза внука. — Ты к чему это? — добавил он, когда прокашлялся.

— Так... — качнул головой Ленька. — К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. — он махнул рукой за реку. — И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, поглядывая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна. Эх ты, Ленька, Ленька!.. кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошел. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее.

— Погоди... — высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Ленька. — Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

— А так уж устроено богом, голубь. Всё — земля, а сама земля — пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро... — перескочил дед и тоскливо добавил: — куда ты тогда пойдешь без меня-то?

Ленька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было болезненное место.

— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

— Говорил уж... — рассеянно и недовольно произнес Ленька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорой. Дед долго говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся — и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не любит деда, не ценит его забот, и, наконец, упрекал Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

— Что — говорил? Глупенький ты еще, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцать лет только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдешь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то собирать несладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст, да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнет тебе кусок, ну ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга

будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на темном лице выступили резче.

Ленька не любил его таким и немного боялся чего-то.

— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты—хилый ребеночек, а мир-то—зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко! Один ты у меня и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого? Господи!.. за что ты не влюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому — дитё,—оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих...старых...Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярko улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

— Будет, не плачь, дедушка,—глядя в сторону, суровым тоном проговорил Ленька и, повернув к деду лицо, добавил:—говорил обо всем уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда-ни-то...

— Забьют... — сквозь слезы простонал дед.

— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с некоторым задором вскричал Ленька, — тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Ленька вдруг почему-то осекся и, помолчав, тихонько сказал:

— А то в монастырь уйду...

— Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

— Паро-о-м!.. Паро-о — гей! — сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперед грудь выпячивалась еще более. Белые зубы ярко сверкали в шелковой раме черной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстегнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колес арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, — разило сытостью, силой, здоровьем.

— Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

— Здравствуйте!— гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выплывал медленно и неуклюже черный паром, стал пристально оглядывать нищих. — Из России?

— Из нее, милостивец!— с поклоном ответил Архип.

— Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

— И тараканы с голода мрут.

— Хо-хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.

— Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

— Земля? — потрянул казак головой. — Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьется, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя

на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

— Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в нее и повел носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Ленька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.

— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.

— А ты не везешь ничего с собой попить? — спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.

— Ничего. А что? Разве в Кубани воды мало?

— Воды!.. я не о воде.

— А о горилке? Не везу горилки.

— Как же это ты не везешь? — задумался спрашивающий, уставив глаза в пол парома.

— Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой пропел тот.

— И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лег на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед.

Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомленные быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шопот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пенек на берегу.

— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубках мелкой черной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колеса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Ленька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: господи, Иисусе Христе... Снова станичные мальчики будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России... Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрет народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда ее, милостыню, здесь денешь? Дома — там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

— Собрать пойдете? — спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил ему дед Архип.

— Встань на ноги, дед, покажу, где живу, — ночевать ко мне придете.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

— Эх ты, старый!.. — буркнул казак, соболезнуя. — Ну, всё равно, не гляди; придет пора на ночлег итти, спроси Черного, Андрея Черного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду — направо и налево — к небу вздымались такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой пылью, а кора толстых, прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий переулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

— Ну, как мы, Леня, пойдём — вместе или порознь? — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: — вместе бы лучше — мало больно тебе подают. Не умеешь ты просить-то...

— А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедает... — хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.

— Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернется человек, да и купит? Вот те и куда! Деньги даст. А деньги дело большое: ты с ними, небось, не пропадешь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

28672



~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА~~
~~дома детской книги~~
~~ДЕТГИЗА~~

Российская государственная
детская библиотека

681726

— А сколько? — равнодушно спросил Ленька
— Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Леньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед. — Так порознь, что ли, идем?

— Порознь...

— Ну... К церкви приходи, буде.

— Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Ленька пошел дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: „Благодетели и кормильцы!..“ Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гусям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Ленька вздрогнул и прибавил шаг. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревется дедушка.

До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Ленька подошел к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее голову и, немного посматрив в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от

взглядов прохожих густым бурьяном и решетчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалеку от него. Плакали по-детски — задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой, минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слез лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идет. У нее были большие черные глаза, теперь — обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрепанных и падавших ей на лоб, щеки и плечи.

Она показалась Ленке очень смешной, несмотря на свои слезы, — смешной и веселой... И озорница, должно быть!..

— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поровнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё еще потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у нее снова дрогнули губы, сморщилось лицо,

грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Ленька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошел за ней.

— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он, еще не поровнявшись с ней, и потом, когда догнал ее, заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты разревелась?

— Да-а!.. — протянула она. — Кабы тебе... — и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Ленька. — Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!

Но это не помогло ни ей, ни ему. Леньке, глядя, как между ее тонкими, розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до ее волос; но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

— Слышь!.. — помолчав, начал Ленька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей. — Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдет!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и, наконец, сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечами:



— Платок... потеряла!.. Батька с базара привез... голубой, с цветками, а я надела — и потеряла. — И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Ленька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от нее, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

— Не плачь!.. может, найдется... — тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся еще дальше от нее, думая, что наверное от отца достанется ей за эту по-

терю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и черный казак, колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против нее, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой, да и скажи всё, как было. Потеряла мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущенным восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

— Вот и ладно!.. — улыбаясь и оживленно продолжал он. — Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись вокруг себя.

— Не надо... — прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нем лохмотья как-то храбро заершились. Он твердо постукивал палкой о землю и смотрел на нее упорно, а его большие

и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слезы, и, снова вздохнув, сказала:

— Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями, изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрылась за поворотом проулка:

— Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись легким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то еще дальше, но в другой стороне—пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Леньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и

быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в груди сердце бьется так часто, часто, и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут ее бить: все богачи — скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут. Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень, сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Ленке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым, крупным фигурам и быстро шел к церкви, — крест ее сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему несся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли ее кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идет к паперти, согнувшись под

тяжестью котомки, и озирается по сторонам, при-
ставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжелой, развалистой походкой ша-
гает станичник в шапке, низко надвинутой на
лоб, и с палкой в руке.

— Что, пуста котомка-то?—спросил дед, под-
ходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у
церковной ограды.—А я вон сколько!..—и, кряхтя,
он свалил с плеч на землю свой холщевый, туго
набитый мешок.—Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти,
хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

— Голова болит...—тихо молвил Ленька, опу-
саясь на землю рядом с дедом.

— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пой-
дем сейчас. Как казака-то того звать? А?

— Андрей Черный.

— Так мы и спросим: а где, мол, тут Черный
Андрей? Вот к нам человек идет... Да... Хоро-
ший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят.
Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошел к ним вплоть и медленно про-
говорил в ответ на приветствие деда:

— И вы здравствуйте!

Затем, широко расставив ноги и остановив на
нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча
почесался.

Ленька смотрел на него пытливо, дед моргал
своими старческими глазами вопросительно, казак
всё молчал и, наконец, высунув до половины язык,

стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и, наконец, прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

— Ну — пойдём в сборную!

— Зачем? — встрепенулся дед.

У Ленки дрогнуло что-то внутри.

— А надо... Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошел было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

— Чего ж ещё?!

Тогда дед и Ленка быстро пошли за ним.

Ленка упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова, и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда, в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманьскую историю. Там дед стянул со двора белье и его поймали с ним.

Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало. Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шопотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

— Ленка...

Ленька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шел впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

— На́ вот, возьми!.. брось в бурьян... да заметь, где бросишь... чтобы взять после... — чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу к внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в комок.

Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом всё его существо, и подошел ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее... Звуки ее рыданий снова ясно раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слез...

В этом почти неменяемом состоянии он пришел позади деда в сборную, слышал глухое гуденье, разобрать которое не мог и не хотел, точно

сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны, и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодых...

— Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. — пронзительно взвизгнул дед.

Ленька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

— Брещет Даниловна, чортова баба! — громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густым и раздраженным голосом.

— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ еще громче.

Ленька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовских глаз, испуганно моргавших, капаят

на его, Ленькин лоб маленькие мутные слезы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...

— Оклемался ли, родной?! Пойдем-ка отсюда. Пойдем, отпустили проклятые!

Ленька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжелое и что она вот-вот упадет с плеч... Он взял ее руками и закачал из стороны в сторону, тихо стоная.

— Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну они и навалились на нас!.. Ох, господи!.. за что наказуешь?

Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уж настала ночь, взошла луна, и ее молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днем, уже и еще пустыней, грустнее. Издалека со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и

кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звездами.

— Пойдем, милый!.. итти надо, — сказал дед.

— Посидим еще! — тихо сказал Ленька.

Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на ее широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населенные невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба — сами дадут, без просьб. А когда степь, всё шире развертываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Ленька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещенное луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаенным восторгом, — было страшно жалко, и, возбуждая в Леньке то

новое для него чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

— Ну, посидим, посидим!.. — бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

— Ленька!.. Погляди-ка!.. — вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее. — В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передергивалось.

Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку.

— Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!.. — умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. и платок взял — вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Леньки.

Перед глазами Леньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Леньке кажется, что каждый, кто хочет, в праве бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то стран-

ном тумане колеблется точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжелый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздается: „Воришки! Воришки! Воришки, воренок!..“ Ленька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защитить... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а ее черные глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Леньке почти не видно было лица деду... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвал ее образ перед собой и мысленно как бы измерял их обоих. Немоощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрян-

ным, как Кашей в сказке. Как это можно? За что он обидел ее? Он не родной ей...

А дед скрипел:

— Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

— Ну!..—вдруг вспыхнуло что-то в Ленке.— Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!..—взвизгнул Ленка и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги.—Вор ты старый!.. У-у!—и сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы:—у дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая ее мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и ее и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа черных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то еще молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Ленка крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

— Дедушка!.. — прошептал Ленька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. — Идем в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

— Дедушка!.. — крикнул Ленька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький, разбитый колокол.

— Что ты... боишься... — хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чем-то. Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щеткой по сухой земле, — а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьет!.. — задыхаясь, говорил дед. — Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошел! Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

— Дедушка!.. прости!.. — придвигаясь к нему, взмолился Ленька.

— Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя

нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь—вор... Для чего вор? для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня накажет... О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уже... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребенка убил ты меня!.. Верно, господи!.. Правильно!.. Справедлив ты, господи! Пошли по душу мою... Ох!

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Леньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для нее, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнем, то погружаясь в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он уставил перед собой широко раскрытые глаза

и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождем головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от страха... При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а вращавшиеся на нем тусклые глаза были безумны.

— Дедушка!.. Пойдем!..—взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и

уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздраженного грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли посмотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был еще жив. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

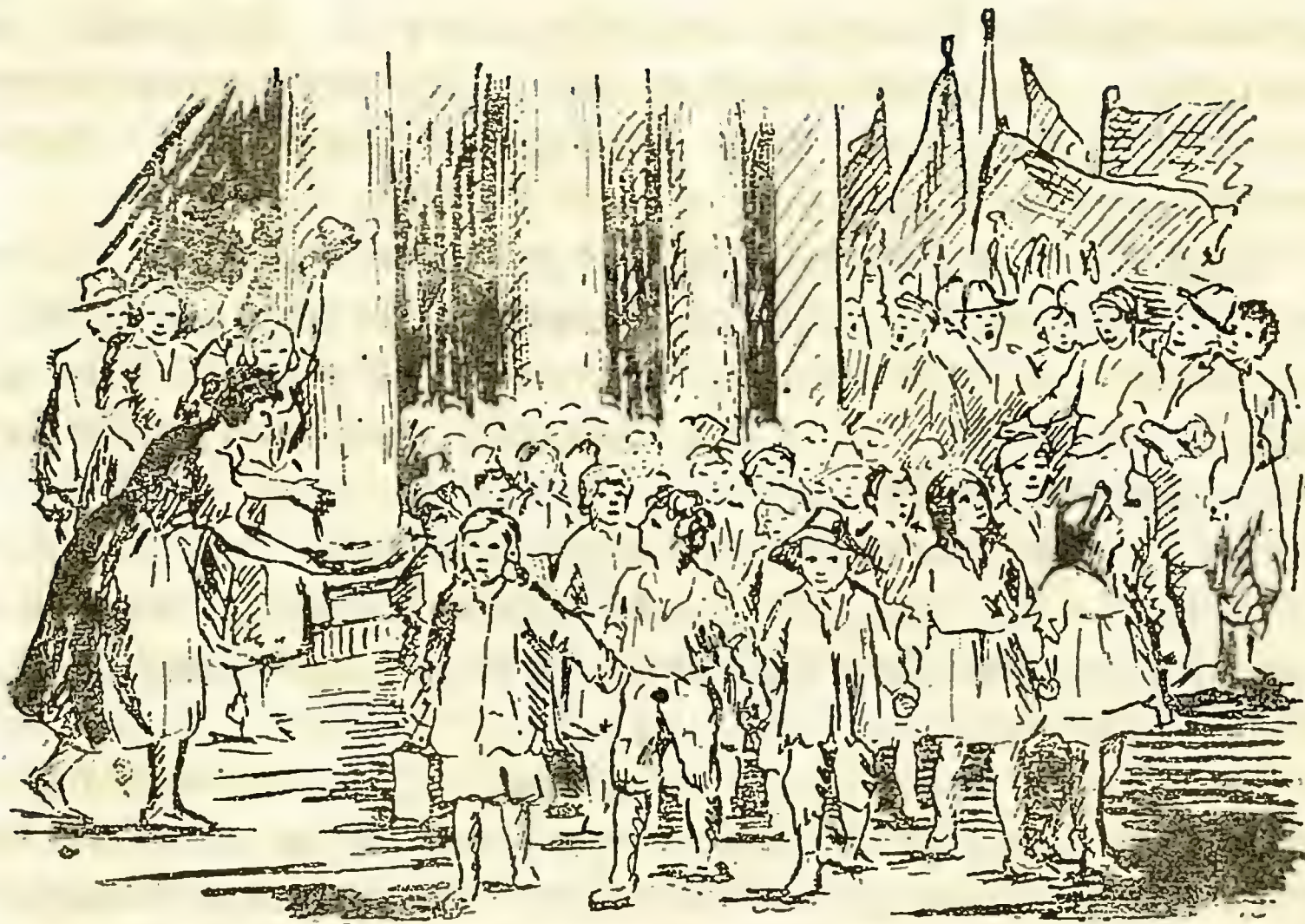
К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых—он чужой, во-вторых—вор, а в третьих—умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашелся Ленька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который

лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еще ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест.



ИЗ „СКАЗОК ОБ ИТАЛИИ“

* *
*

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа—преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы—члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих

организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале—фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

— Побеждают только верующие.

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики—на площади тихо, душно и всё обито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов—женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив—толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд—очень маленькие, пыльные, видимо усталые. Их лица серьезные, но глаза блестят живо и ясно, и, когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,—по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселою рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, перед ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей,—они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг—как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди крикнули:

— Viva Italia!¹

— Да здравствует молодая Парма!—гремит толпа, опрокидываясь на них.

¹ Viva Italia! (итал.) — Да здравствует Италия!

— Evviva Garib Idi!¹ — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный, мощный крик:

— Viva il Socialismo!²

— Evviva Italia!

Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых, усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

¹ Evviva Garibaldi! (итал.) — Да здравствует Гарибальди!

² Viva il Socialismo! (итал.) — Да здравствует социализм!



— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А—так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо братьев, сделал грозное лицо, ошетинился — они смотрели на него серьезно, — нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахму-

рились отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал всё, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая идет черноволосая гемуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову — весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь — если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

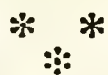
И густо, громко, торжествующе хохочет и, под-

брасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— *Evviva Parma-a!*¹

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.



Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

— Италия прекрасная,
Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в

¹ *Evviva Parma!* (итал.) — Да здравствует Парма!

малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города; толстый немец с расковыренным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого



важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо! — сказала она. — Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но, все-таки, я устал, дорогая синьора! —

вздохнув, ответил Пепе. — Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя. Сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я всё стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды!? — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О, нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей, — он



слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников, — ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо, вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, — она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаться здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые, — сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светлосерого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ко нож! — сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хва-

тался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело? — спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары, даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался: ведь иногда и богатому бывает весело.



Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиною, и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, — он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— Фиорино-о... фиорино-о...

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.



А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой, тихонько течет звонкий, задумчивый голос мальчика:

— О, море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!

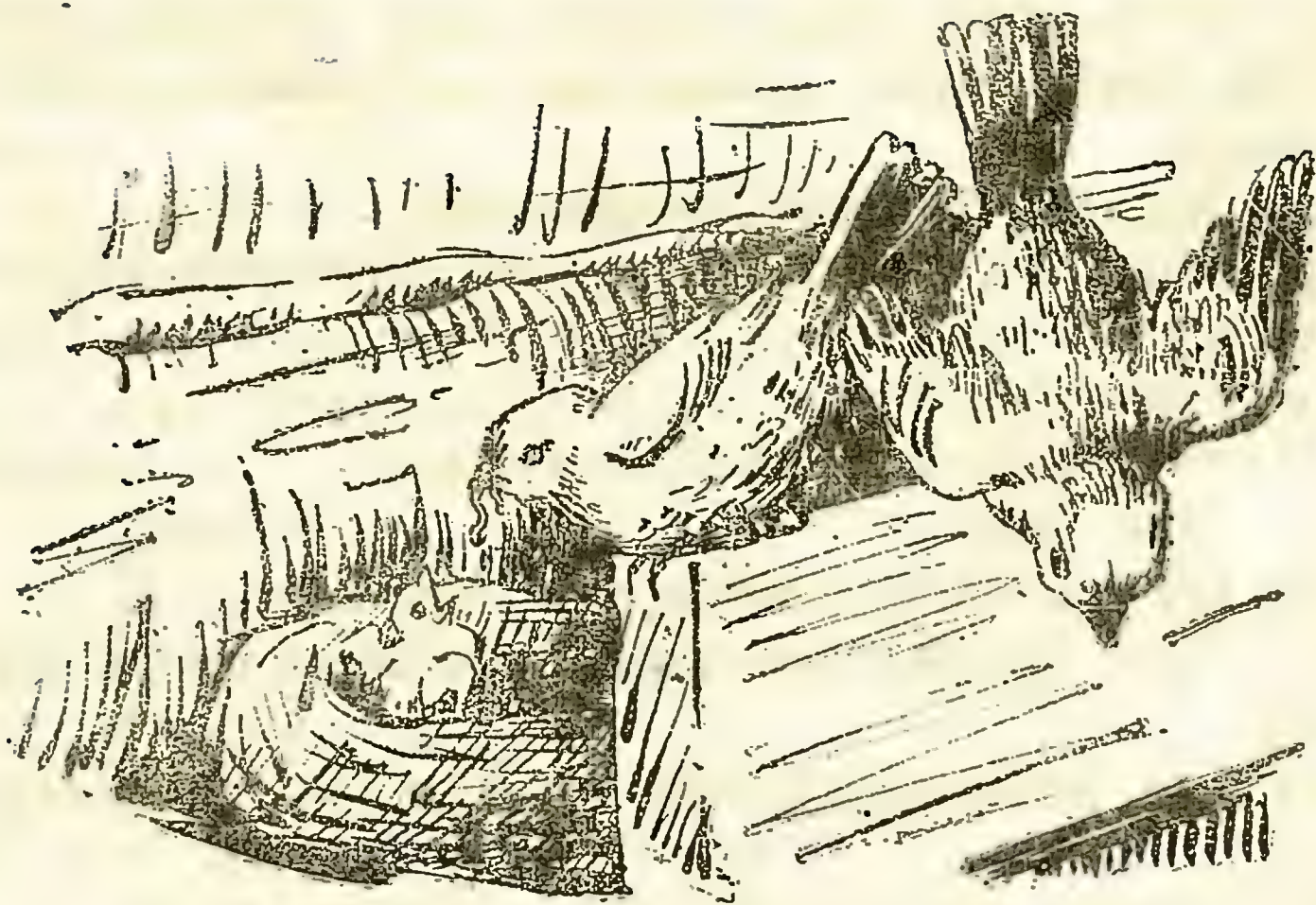
А кто добрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, — те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.



ВОРОБЬИШКО

У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь — живет своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда.

— Что, что? — спрашивала его воробья-мама. Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудик и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробья одобряла его:

— Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

— Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем? Чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадешь на землю, кошка — чик! — и слопает, — объяснял отец, улетаая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что? Что?

— Ветер дунет на тебя — чирк! — и сбросит на землю — кошке, — объяснила мать.

Это не понравилось Пудик, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...

Пробовала мать объяснить, что это не так, но он не поверил—он любил объяснять всё по-своему.

Идет мимо бани мужик, махает руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка,—сказал Пудик,—одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые!—сказала воробьяха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...

— Чушь!—сказал Пудик.—Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме.

Он еще не знал, что если маме не верить—это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

— Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.



Пел, пел, да и вывалился из гнезда, а воробьи-
ха за ним, а кошка — рыжая, зеленые глаза — тут,
как тут. Испугался Пудик, растопырил крылья,
качается на сереньких ножках и чирикает:

— Честь имею, имею честь...

А воробьиha отталкивает его в сторону, перья
у нее дыбом встали — страшная, храбрая, клюв рас-
крыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно,
лети...

Страх приподнял с земли воробьишку, он под-
прыгнул, замахал крыльями — раз, раз, и — на окне!

Тут и мама подлетела—без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

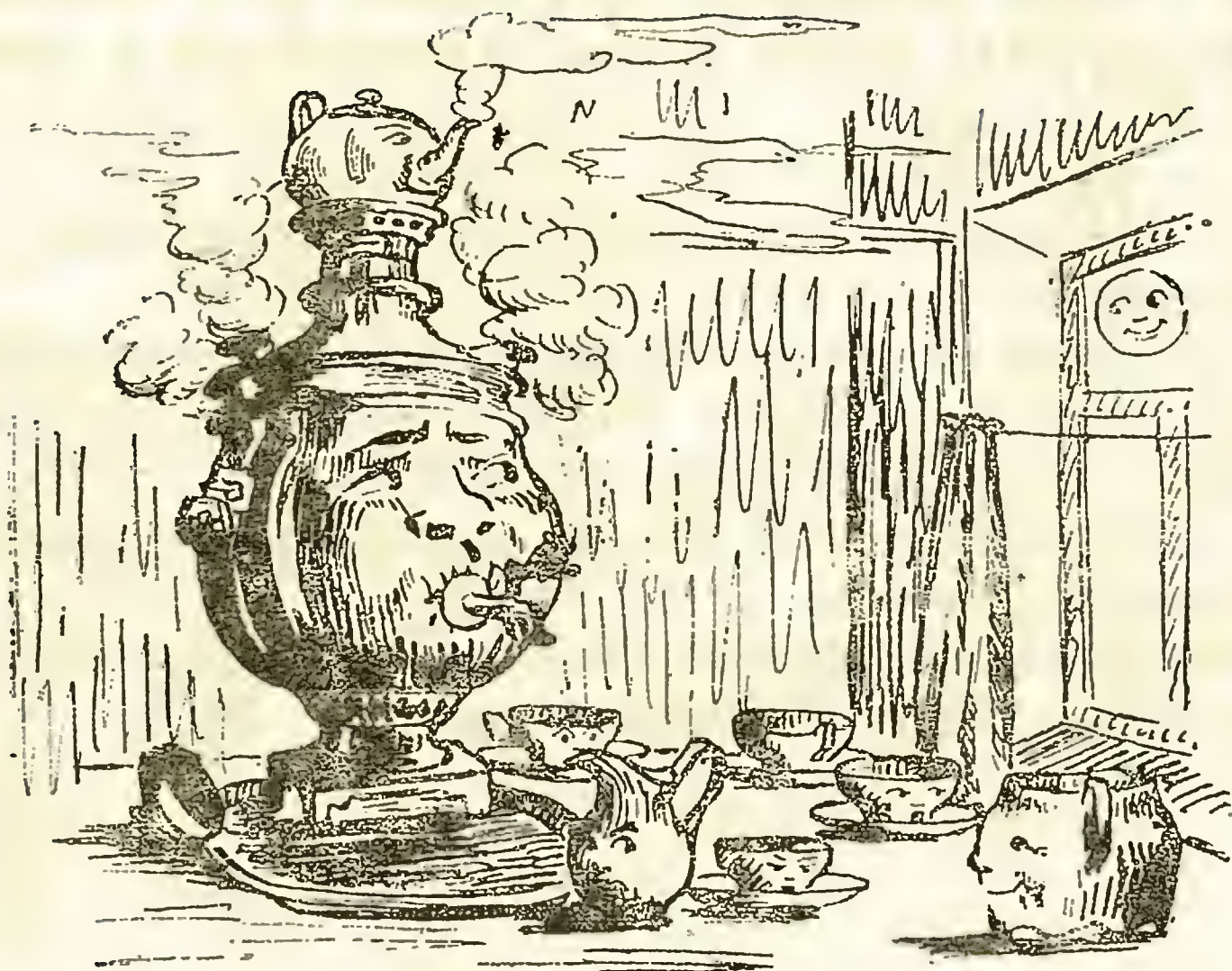
— Что? Что?

— Ну, что ж!— сказал Пудик.— Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьины перья, смотрит на них—рыжая, зеленые глаза — и сожалительно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста...



САМОВАР

Было это летней ночью на даче.

В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо, горячо распевая:

— Замечаете ли, чайник, что луна
Чрезвычайно в самовар влюблена?

Дело в том, что люди забыли прикрыть трубу самовара тушилкой и ушли, оставив чайник на конфорке; углей в самоваре было много, а воды

мало, — вот он и кипятился, хвастаясь перед всеми блеском своих медных боков.

Чайник был старенький, с трещиной на боку, и очень любил дразнить самовар. Он уже тоже начинал закипать; это ему не нравилось, — вот он поднял рыльце кверху и шипит самовару, подзадоривая его:

— На тебя луна
Смотрит свысока,
Как на чудака,—
Вот тебе и — на!

Самовар фыркает паром и ворчит:

— Вовсе нет. Мы с ней — соседи,
Даже несколько родня:
Оба сделаны из меди,
Но она тусклей меня,
Эта рыжая лунишка, —
Вот на ней какие пятна!

— Ах, какой ты хвастунишка,
Даже слушать неприятно, —

ответила сахарница сладеньким голосом. Она была толстая, широкая и очень смешлива, а сливочник — так себе, горбатенький господин унылого характера с одной ручкой; он всегда говорил что-нибудь печальное.

— Ах, — сказал он, —
Всюду — пусто, всюду — сухо,
В самоваре, на луне.

Сахарница, поежившись, закричала:

— А в меня залезла муха
И щекочет стенки мне...
Ох, ох, я боюсь,
Что сейчас засмеюсь!

— Это будет странно — слышать смех стеклян-
ный, — невесело сказал сливочник.

Проснулась чумазая тушилка и зазвенела:

— Дзшсь! Кто это шипит?
Что за разговоры?
Даже кит ночью спит,
А уж полночь скоро!

Но, взглянув на самовар, испугалась и звенит:

— Ах, люди все ушли
Спать или шлаться,
А ведь мой самовар
Может распаяться!
Как они могли забыть
Обо мне, тушилке?
Ну, придется им теперь
Почесать затылки!

Тут проснулись чашки и давай дребезжать:

— Мы скромные чашки,
Нам всё всё равно!
Все эти замашки
Мы знаем давно:
Нам ни холодно, ни жарко,
Мы привыкли ко всему!
Хвастун самоварко,
И не верим мы ему.

Заворчал чайник:

— Ф-фу, как горячо,
Жарко мне отчаяно.
Это не случайно,
Это чрезвычайно!

И — лопнул!

А самовар чувствовал себя совсем плохо: вода в нем давно вся выкипела, а он раскалился, кран у него отпаялся и повис, как нос у пьяного, одна ручка тоже вывихнулась, но он всё еще храбрился и гудел, глядя на луну:

— Ах, будь она ясней,
Не прячься она днем,
Я поделился б с ней
Водою и огнем!

Она со мной тогда
Жила бы, не скучая,
И шел бы дождь всегда
Из чая!

Он уже почти не мог выговаривать слов и на-
клонялся на бок, но всё еще бормотал:

— А если днем она должна ложиться
спать,
Чтоб по ночам светлей сияло ее
донце, —
Я мог бы на себя и днем и ночью
взять

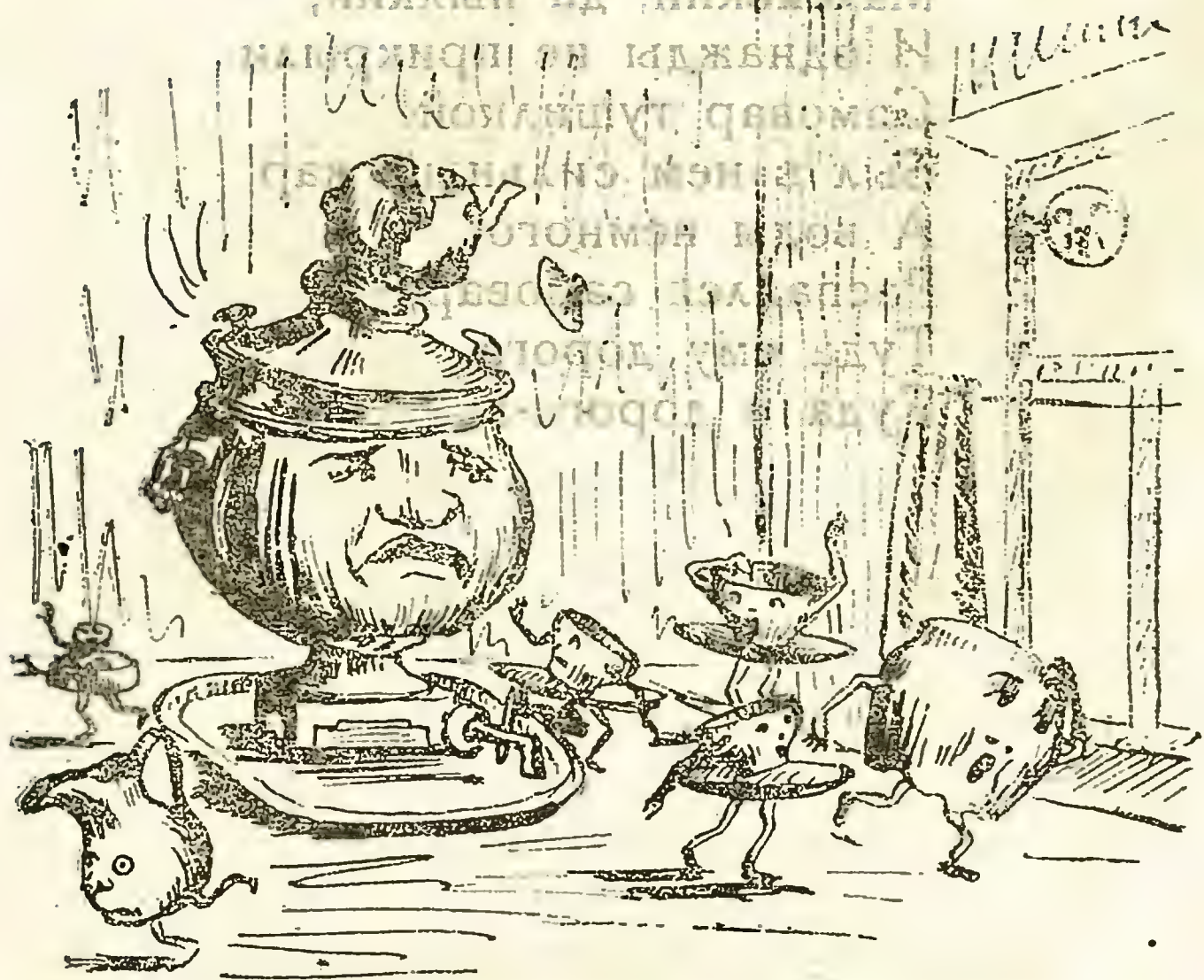
Обязанности солнца!
И света и тепла земле я больше дам,
Ведь я его и жарче и моложе!
Светить и день и ночь ему не по
годам, —

А это так легко для медной рожи!

Тушилка обрадовалась, катается по столу и
звенит:

— Ах, это очень мило!
Это очень лестно!
Я бы солнце потушила,
Ах, как интересно!

Но тут — крак! — развалился самовар на ку-
сочки, кран клюкнулся в полоскательную чашку

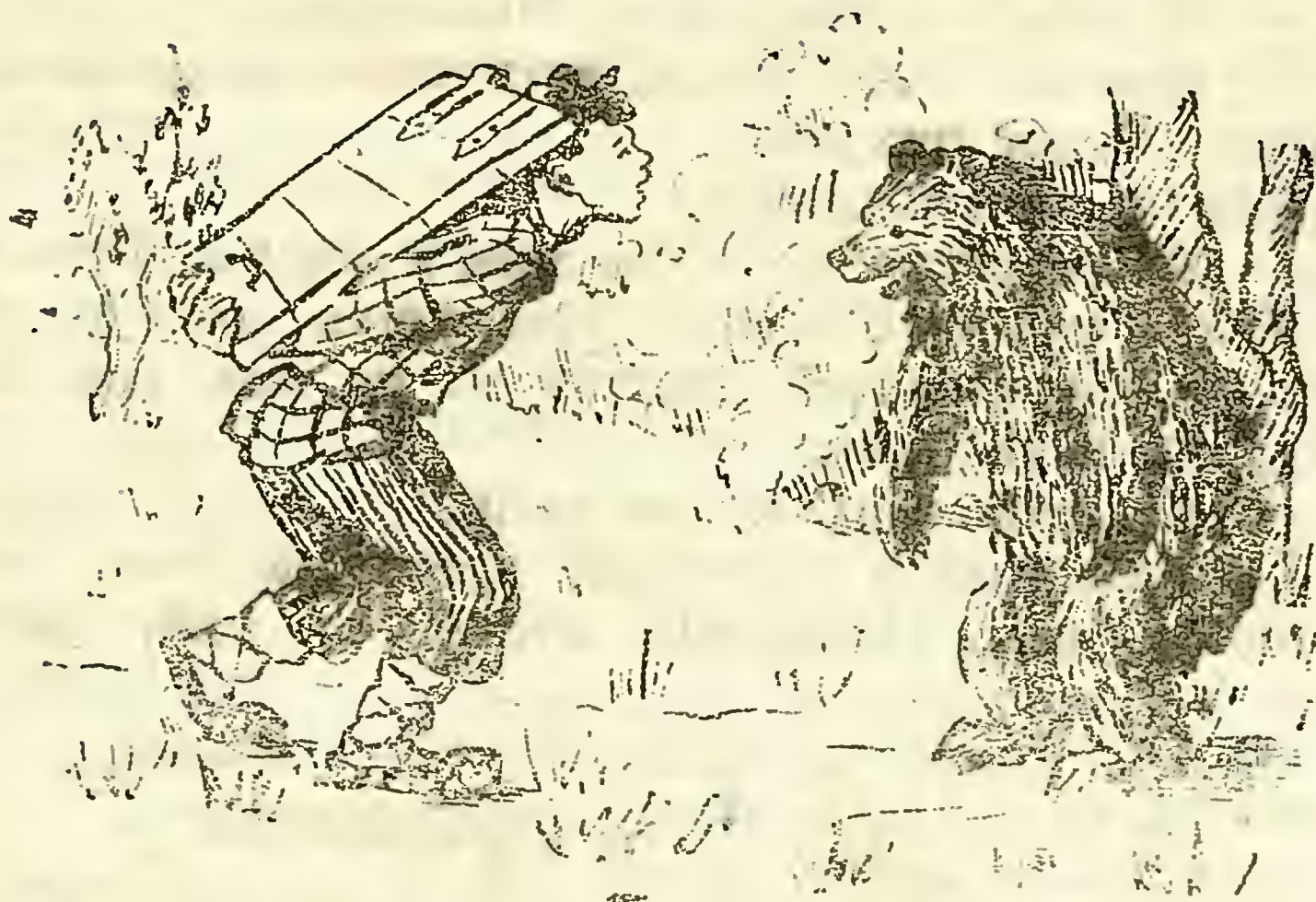


и разбил ее, трубка с крышкой высунулась вверх, покачалась, покачалась и упала на бок, отколол ручку у сливочника; тушилка, испугавшись, откатилась на край стола и бормочет:

— Вот смотрите — люди вечно
Жалуются на судьбу,
А тушилку позабыли
Надеть на трубу!

А чашки, ничего не боясь, хохочут и поют:

— Жил-был самовар,
Маленький, да пылкий,
И однажды не прикрыли
Самовар тушилкой!
Был в нем сильный жар,
А воды немного;
Распаялся самовар, —
Туда ему дорога,
Туда и дорога-а!



ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА

*Русская народная сказка в пересказе
М. Горького*

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит — не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:
— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем?—спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари — будет похлебка!

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу,—запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку



воды, насыпал в нее полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

— А кого крошить надо?

Услыхали дети, — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, — соображает:

— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлебка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и пошел в лес; вдруг навстречу ему Медведь шагает — удивился, рычит:

— Эй ты, зачем дерево в лес несешь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, — Медведь сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

А Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бежали!

Медведь еще сильнее смеется, так и катается по земле со смеху.

— Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебя жене своей покажу!

Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает.

— Да брось ты ее! — говорит Медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал стеречь, так уж устерегу!

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел! Смехота!

А Иванушка спрашивает Медведицу:

— Тетя, не видала ребятишек?

— Мои — дома, спят.

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему Медведица трех медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и Медведица видит, что он глупенький, тоже смеется:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да, — сказал Иванушка, — разберешь их, маленьких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась Медведица и говорит мужу: — Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живет!

— Ладно, — согласился Медведь, — он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала Медведица Иванушке лукошко, приказывает:



— Поди-ка набери малины лесной—детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

— Ладно, это я могу!—сказал Иванушка.— А вы дверь постерегите!

Пошел Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идет назад к Медведям и поет во всё горло:

— Эх, как неловки
Божие коровки!
То ли дело — муравьи
Или ящерицы!

Пришел в берлогу, кричит:

— Вот она, малина!

Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются,—очень рады!

А Иванушка, глядя на них, говорит:

— Эх-ма, жаль, что я не Медведь, а то у меня дети были бы!

Медведь с женой хохочут.

— Ой, батюшки мои!—рычит Медведь,—да с ним жить нельзя,—со смеху помрешь!

— Вот что,—говорит Иванушка,— вы тут постерегите дверь, а я пойду ребятишек искать, не то хозяин задаст мне!

А Медведица просит мужа:

— Миша, ты бы помог ему!

— Надо помочь, — согласился Медведь, — уж очень он смешной!

Пошел Медведь с Иванушкой лесными тропами, идут — разговаривают по-приятельски:

— Ну и глупый же ты! — удивляется Медведь, а Иванушка спрашивает его:

— А ты — умный?

— Я-то?

— Ну да!

— Не знаю.

— И я не знаю. Ты — злой?

— Нет. Зачем?

— А по-моему — кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем!

— Ишь ты, как вывел! — удивился Медведь.

Вдруг — видят: сидят под кустом двое детей, уснули.

Медведь спрашивает:

— Это твои, что ли?

— Не знаю, — говорит Иванушка, — надо их спросить. Мои — есть хотели.

Разбудили детей, спрашивают:

— Хотите есть?

Те кричат:

— Давно хотим!

— Ну, — сказал Иванушка, — значит, это и есть мои! Теперь я поведу их в деревню, а ты,

дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне еще надобно похлебку варить!

— Уж ладно! — сказал Медведь. — Принесу!

Идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано, а сам поет:

— Эх, вот так чудеса!
Жуки ловят зайца.
Под кустом сидит лиса,
Очень удивляется!

Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились, видят: посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита, картошкой насыпана да мукой, детей нет, дверь тоже пропала, — сели они на лавку и плачут горько.

— О чем плачете? — спросил их Иванушка.

Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стряпню в кадке:

— Это чего ты наделал?

— Похлебку!

— Да разве так надо?

— А я почему знаю — как?

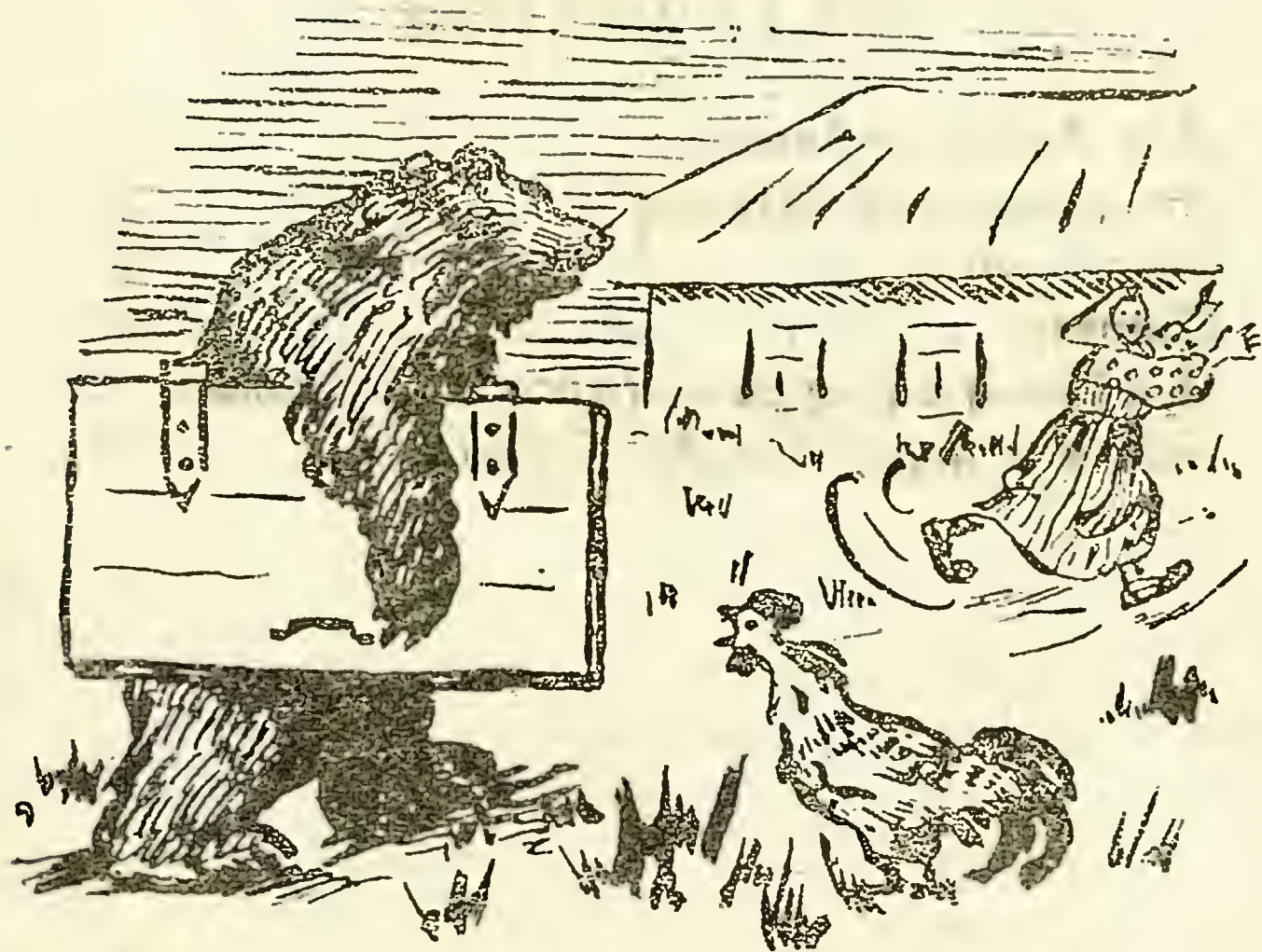
— А дверь куда девалась?

— Сейчас ее принесут, — вот она!

Выглянули хозяева в окно, а по улице идет Медведь, дверь тащит, народ от него во все сто-

роны бежит, на крыши лезут, на деревья; собаки испугались — завязли со страху в плетнях, под воротами; только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на Медведя:

— Кину в реку-у!..



Итак, в заключение —

СОДЕРЖАНИЕ

Дед Архип и Ленька	3
Из „Сказок об Италии“	39
Воробьишко	57
Самовар	62
Про Иванушку-дурачка (русская народная сказка в пересказе М. Горького) . . .	69



ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА

Ответств. редактор Э. Эмден.

Подписано к печати 15/V 1942 г.
2⁵/₈ печ. л. (2,3 уч.-изд. л.). 41 000 зн.
в печ. л. Тираж 50 000 экз.

ФЕ942.

Цена 75 к.

Областная типо-литография.
Киров, пл. Ст. Халтурина, 46.
Заказ № 1541.

32.986

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

ЦЕНА 75 КОП.

150=

К